Старый дом

16 Да явится на рабах Твоих дело Твоё и на сынах их слава Твоя;

17 и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.

Псалом 89 — Псалтирь — Библия: https://bible.by/syn/19/89/



Мне вспоминается старый дом...

Я был ещё ребёнком, когда в первый раз увидел его, но вид его так поразил моё воображение, что и теперь ещё, по прошествии многих лет, он, как на картине, стоит перед моими глазами. Двухэтажный, с колоннами и фронтоном, стоял он полукругом в глубине обширного, когда-то вымощенного плитами, а потом густо заросшего травою, двора. Два ряда старых, развесистых лип шли вдоль фасада и скрывали его от любопытных взоров. Резная, фигурная, когда-то вызолоченная решётка отделяла двор от улицы. Посередине ограды находились решетчатые же ворота, на столбах которых, гордо подняв свои косматые головы, стояли на задних лапах два каменных льва, опираясь передними на щиты с каким-то чрезвычайно сложным и запутанным гербом. Два других таких же льва охраняли крыльцо, приходившееся по самой середине фасада — прямо против ворот. Тенистая, густая и узкая аллея из двух рядов высоких лип соединяла ворота с крыльцом. Густой, тенистый сад окружал дом с трёх остальных сторон. Все это было заброшено, запущено, отдано в жертву времени и стихиям. Замкнувшись в своём мрачном

одиночестве, старый дом, заброшенный и покинутый, стоял, как обломок минувшего, своим видом нагоняя тоску и уныние и вселяя страх в робкие души захолустных обитателей. Немного нашлось бы среди них храбрецов, способных пройти мимо него в глухую полночь, и наверняка ни одного, кто решился бы забраться внутрь и пройтись по громадным, заброшенным покоям. Праздная фантазия окружающих жителей создавала вокруг него целые легенды, и каких только страхов и ужасов не рассказывали нам, детям, про него.

Как живо встают в моём воображении эти длинные зимние вечера, когда вся семья наша собиралась, бывало, у большого круглого стола, под висячей лампой: кто с шитьём, кто с вязаньем, кто с другой какой-либо работой. В уголку, поближе к печке, в большом кресле, со скамеечкой под ногами, усаживалась наша старушка-бабушка и, надев большие круглые очки, начинала неутомимо постукивать чулочными спицами, тихим старческим голосом рассказывая разные истории — одна другой занимательнее, одна другой страшнее, и в каждой из них непременно упоминался старый дом и его хозяева. Мы, детвора, забравшись с ногами на большой дедовский диван и сбившись в кучу, жадно слушали её рассказы, стараясь не проронить ни одного слова и только робко иногда посматривали одним глазом на мрачно черневшуюся дверь в тёмную гостиную, из которой вот-вот, казалось нам, появится что-то страшное. Кончалось это обычно тем, что мы, набегавшись за день, скоро так в куче и засыпали под монотонный рассказ бабушки и мерное пощёлкивание её спиц, а нас, сонных, на руках разносили по постелям...

Много лет прошло с тех пор, и из маленького мальчугана я успел уже обратиться во взрослого человека, а старый дом всё ещё продолжает стоять, но и он настолько изменился, что его и узнать теперь нельзя. Я теперь знаю его подлинную историю и, право, она не менее интересна и поучительна, чем истории, которые когда-то рассказывала нам бабушка про старый дом и его хозяев.

Дом этот был достаточно известен когда-то всей чиновной и родовитой Москве. Он не был тогда мрачным и заброшенным, а сверкал и сиял, гордо отличаясь своей нарядной внешностью от маленьких жалких одноэтажных домишек, окружавших его. По высокоторжественным и праздничным дням всяк считал своим долгом явиться с поздравлением к сановному хозяину этих палат и тем напомнить ему лишний раз о себе. Да гордый и самовластный вельможа и не простил бы никогда смельчаку, не явившемуся к нему в положенный день на поклон. Сила же и могущество его были таковы, что и наиболее родовитые и чиновные москвичи, не желая ссориться с «чудотворцем», неукоснительно являлись к нему по положенным дням. Длинные ряды экипажей частенько по суткам и более стояли у решетчатых ворот, покуда владельцы их, хоть иногда и против воли, но не смея противоречить самодуру-хозяину, веселились и пировали в его богато разукрашенных покоях. Да и опасно было бы с ним ссориться!

«Петербургский чудотворец» и «половина Потёмкина», как прозвали его московские остряки, Ефим Иванович Лещевский, «Великой Государыни и Матушки Екатерины Алексеевны генерал-аншеф и нижайший раб», как он сам величал себя, был однокашником, закадычным другом детства и ближайшим наперсником своего соседа по имению, небогатого дворянского сына, Григория Александровича Потёмкина.

Мальчиками ещё, играя и бегая, сдружились соседи. Росли они — росла и дружба между ними, и

каждый из них являлся единственным поверенным первых горячих мечтаний друга. Легко могло статься, что друзья, мечтая, влюбляясь, охотясь и вообще проводя время подобно тысячам своих сверстников — небогатых дворянских сынков, тихо и незаметно прожили бы всю жизнь в своих именьицах, как прожили её до них и после них сотни тысяч подобных им дворян, если бы не наступила внезапная перемена всей их жизни и действительность не превзошла бы самых смелых их мечтаний. Всеблагому Промыслу угодно было вдруг возвести одного из них, Потёмкина, совершенно неожиданно на вершину земного могущества. Ни могучий ум, ни воинская доблесть или иные заслуги здесь были ни при чём. Красивая внешность, да удачное, вовремя сказанное слово царице сделали своё дело, и Потёмкин, из бедного сержанта армии, был сразу поставлен на недосягаемую высоту. Суета сует!

Этот же самый Потёмкин, распоряжавшийся потом в России так же самовластно, как в своём имении, и доброго расположения которого заискивали короли и принцы, этот же самый Потёмкин, в своё время, умер на голой земле среди степи, и едва нашлась дружеская рука, чтобы закрыть ему глаза...

«Дорогому Ефиму от друга Гриши» было послано настоятельное требование явиться в Петербург. Здесь, благодаря поддержке своего товарища и друга, Лещевский в короткое время, быстрым темпом пройдя последовательно через все чины, достиг весьма крупного в те времена чина полковника. Высокий, статный, румяный блондин с отличавшимися какой-то хрустальной чистотой и глубиной огромными голубыми глазами, весёлый товарищ, великий дамский угодник и на все руки мастер, а главное, друг и приятель всесильного временщика, Ефим Иванович быстро занял одно из самых заметных мест в обществе. Тонкая наблюдательность и острый злой язык быстро создали ему массу друзей и врагов, но Ефим Иванович не обращал особого внимания ни на тех, ни на других. Он только веселился, стараясь брать от жизни всё, что было возможно, и слава о его похождениях ходила по всей столице.

Его везде с большим удовольствием принимали и встречали всегда с большой радостью, зная хорошо, что где Ефим Иванович, там нет места скуке. Его остроумный разговор очень нравился Императрице, которая часто подолгу с ним беседовала, с удовольствием слушая его остроумные замечания любуясь его оживлённым красивым лицом с искрящимися голубыми глазами.

Конечно, вскоре начали разноситься слухи, что Ефим Иванович старается подставить ножку Потёмкину, чтобы самому занять его место. Говорили, что слухи эти имели большое основание, и все ждали, что вот-вот разразится борьба между приятелями, и многие, злорадно потирая руки, заранее высчитывали, кому и какая от этого получится прибыль. Но, хотя все эти сплетни и разговоры и не посеяли между друзьями розни, всё же Ефим Иванович вдруг, беспричинно загрустил и на все вопросы о причине такой внезапной перемены не отвечал ни слова. Прояснилось лицо его лишь на другой день после объявления войны с турками, когда стало известно, что полк Ефима Ивановича одним из первых отправляется на театр военных действий. Так, кстати для него начавшаяся война доказала, что, достигнув таким необычайным скачком командования полком, он всё же оказался на своём месте. Во главе своего полка, шедшего как на парад с распущенными знамёнами и полным оркестром музыки, он стремительным натиском выбил из позиции, считавшейся неприступной, неприятеля, чуть ли не вдесятеро сильнейшего.

Первым появился он на неприятельском валу и с таким азартом лез на штыки турок, что

казалось, решился во что бы то ни стало сложить там свою голову. Его отважная и безумная храбрость увенчались успехом — позиция была взята, а он найден потом в груде трупов весь израненный и с раздробленной ногой. Его несомненно храбрый, хотя и бесполезный поступок погубил, правда, около трёх четвертей полка совершенно задаром, так как отбитую позицию пришлось отдать обратно неприятелю вследствие отступления всей нашей армии и стоил самому Лещевскому правой ноги, но доставил ему славу героя. О знаменитом штурме много говорили и в армии, и при дворе, и на Ефима Ивановича, еле-еле выбравшегося из когтей смерти, дождём посыпались чины, ордена и всякие другие награды. Выйдя по выздоровлении в отставку в чине генерал-аншефа, он получил от Государыни около 6000 душ крестьян в разных губерниях. На этом и закончилась его военная карьера.

Не желая калекой показываться в Петербурге, Ефим Иванович переехал после отставки в Москву на постоянное жительство, где тотчас же и принялся строить себе дом по своему вкусу со всеми затеями, которые только могли прийти ему в голову. Окончив постройку и убрав вновь отстроенное жилище как можно роскошнее, он зажил в своё удовольствие, собирая у себя почти всю Москву. Вскоре после окончания дома он женился на дочери небогатого дворянина — соседа по имению и, женившись, перестал уже удивлять добрых людей своими проказами. И деревяшка мешала, и годы уже были не те, да и перестало тянуть его к прежним бесшабашным кутежам и пирушкам, одним словом, Ефим Иванович как будто остепенился. Заведя у себя в новом доме богатую библиотеку, он жадно накинулся на чтение книг, выписывая их целыми грудами из-за границы. Часто по целым дням и ночам не отрывался он от заинтересовавшей его книги и только невнятным мычанием отвечал на неотступные просьбы молодой жены бросить противную книгу. Отрывался от книги он лишь для приёма гостей да для театральных представлений, которыми увлекался, пожалуй, не меньше, чем книгами.

Страстный поклонник только что появившегося у нас театрального искусства, он устроил у себя в доме, в большой, в два света с хорами, зале — сцену со всеми возможными в те времена приспособлениями.

Из крепостных парней и девушек была набрана большая труппа, которая усилиями выписанных из-за границы балетмейстеров и учителей декламации и пения, через короткое сравнительно время, могла уже разыгрывать для восхищённого Ефима Ивановича и избранных гостей его целые пьесы с пением, танцами и весьма замысловатыми превращениями.

Крепостные артисты и артистки старались изо всех сил, чтобы заслужить похвалу Ефима Ивановича, прекрасно зная, что в противном случае им придётся плохо. И правда, спектакли эти не всегда сходили благополучно для невольных актёров — неловкое, неграциозное движение, неверная нота или нетвёрдое знание роли — всё тотчас же влекло за собой неизбежную кару. Виновного или виновную прямо со сцены, не дав смыть белила и румяна и снять театрального костюма, отправляли на конюшню для наказания розгами, степень которого определялась минутным капризом барина. Зачастую, наказанных, прямо оттуда, всё ещё в том же нелепом шутовском костюме какого-нибудь аркадского пастушка или пастушки, в котором они были на сцене, отправляли в вечную ссылку в одну из дальних деревень пасти свиней или на другую чёрную работу. И никому тогда это не казалось произволом, ни на кого, кроме, конечно, жертв барской прихоти, не производило никакого впечатления. Всё это было в порядке вещей. Таков

был век — таковы были нравы.

Считаясь уже около 800 лет христианами, в те времена предки наши были ещё очень и очень далеки от Христа. Учение личного совершенствования, любви и всепрощения не коснулось народа, который пребывал во мраке и невежестве, всецело сохранившихся от времён язычества. Христианство, принятое формально, без освящения его верой и ясного понимания сути учения Иисуса Христа, лишь заменило в понятии многих из народа имена прежних богов именами христианских святых, суть же оставило старую. И оставался народ в прежнем язычестве, почитая под именем пророка Ильи своего старого страшного громовержца — Перуна, под именем Фрола и Лавра охранителя стад — Волоса, также продолжал верить в домовых, леших, ведьм — и в прочие остатки своей былой языческой мифологии, разумное поклонение Богу и Творцу своему в духе и истине заменив тысячью обрядов и обрядностей и окончательно исказив всем этим великие учения Спасителя. Да и высшие классы в деле веры недалеко ушли от тёмного народа. То же невежество, то же дикое суеверие, та же мёртвая обрядность и нигде луча света, ни одного голоса, зовущего с проторенной дороги формализма и язычества на путь разумного искреннего прозрения и возрождения к новой жизни, на путь ясного сознательного отношения к Богу и ближнему, на путь, ведущий к единению со Христом. Напротив, именно в то время и начали раздаваться голоса, призывающие к неверию и атеизму, и слабые умы, нахватавшиеся верхушек знания, начали увлекаться новым модным учением. Общество, не просвещённое светом истинного знания, стоя вне умиротворяющего влияния чистого христианства, естественно находилось, несмотря на внешний блеск и лоск, почти в диком состоянии. Одна половина его, владея другой, большей, половиной, как скотом, как вещью, могла позволять себе, при дикости тогдашних нравов, поступки, для нас теперь почти невероятные.

Ничем не отличаясь от современного ему общества, Ефим Иванович, при вспыльчивом, как порох, бешеном и властном характере своём и при полной бесконтрольной власти над тысячами человеческих существ — его крепостных, которых он и за людей-то не считал, естественно мог совершать зачастую, особенно в первые минуты безудержного гнева, вещи и похуже ссылки или наказания розгами. Не будучи от природы злым или жестоким, он под влиянием гнева, овладевавшего им с неслыханной силой, часто по самому пустяшному поводу, был способен и на большую жестокость, и на крупное зло. Он и сам потом не любил вспоминать об этом — нахмурится, бывало, да рукой махнёт, когда приходило ему в голову воспоминание о чем-нибудь особенном, сотворённом им в гневе. Но если сойдёт благополучно первый страшный приступ бешенства и все живое успеет вовремя убраться подальше с глаз разбушевавшегося хозяина и владыки, и тот же Ефим Иванович способен и выслушать спокойно виновного, и толково разобрать проступок, и понять оправдание. Но ни разу за всю свою жизнь не отменил он ни одного своего распоряжения, отданного им в минуту гнева, как бы безрассудно и жестоко оно ни было.

Много рассказов о жестокостях Ефима Ивановича ходило по Москве, но также и множество бедняков благословляло его имя. Всякий, у кого было горе или беда какая, смело шёл к нему, зная, что бедному человеку нет у него отказа в помощи деньгами или иной какой. Огромное богатство и большие связи Ефима Ивановича давали ему возможность удовлетворять большинство просьб, обращённых к нему. Из лиц, власть имевших на Москве, никто не решался оскорбить добровольного ходатая за бедняков отказом — и десятки сирот устраивались, разные

старички и старушки получали, наконец, годами ожидаемую пенсию, десятки кляузных дел вдруг начинали двигаться и неожиданно разрешались в пользу истца, какого-нибудь бедняка, уже и надежду было совсем потерявшего. «Благодетель и милостивец» было имя Ефима Ивановича среди бедноты и мелкого люда.

«Сам вышел из ничего милостью Матушки-Царицы, и не стать мне над бедняками величаться. Только тот и может нужду понимать, кто сам её испытал, а я родился и вырос не в шелках да в бархатах и знаю, каково трудно живётся на свете бедному человеку, у которого заступником один Бог и чистая совесть», — обыкновенно говорил он, широко раздавая направо и налево и всякими другими способами оказывая помощь нуждающимся. Ну, а со знатными да богатыми была у него повадка другая — любил он повеличаться над ними. Для того и аллею-то провёл от ворот до крыльца нарочно такую узкую, чтобы невозможно было въехать во двор в экипаже. Всякий, прибывший к нему, должен был оставить экипаж у ворот и пешком пройти через весь двор до самого крыльца, где прибывшего встречал или сам хозяин, или кто-либо из его приближенных. Любил Ефим Иванович посмотреть, как идут пешком через двор к нему важные тузы в раззолоченных мундирах с лентами, звёздами и другими орденами на груди, боках и, чуть ли не на спине...

И шли, скрежеща зубами, шли и проклинали в душе самодура-выскочку, а Ефим Иванович, приветливый и ласковый, гостеприимно встречал гостей на крыльце, кланялся и благодарил за посещение, и только в уголках его губ да в больших голубых глазах его мелькала иногда предательская усмешка, лучше всяких слов говорившая, что он прекрасно видит и понимает всё, что делается на душе его гостей. И ненавидели же его за эту усмешку его добрые приятели, скапливая в душе весь запас злобы до поры до времени, а пока кланялись ему почаще да пониже, льстя и лицом, и словами, и любезно ему улыбались. Всяк знал, что пока в силе Потёмкин, бороться и ссориться с Ефимом Ивановичем не рука.

Прожив всю жизнь на свой лад, Ефим Иванович и окончил её не так, как другие люди. По смерти его друга и покровителя, Потёмкина, когда тяжёлая рука Зубовых налегла на всех друзей и приверженцев былого фаворита, все были уверены, что не сдобровать теперь Ефиму Ивановичу, и уже собирались мстить ему за прежние насмешки, пользуясь его бессилием.

Сильная гроза нависла над головой его и, казалось, вот-вот вся благополучная жизнь его разлетится прахом, и враги его, которым нет числа, будут торжествовать над ним, злобно припоминая всё его былое над ними величие. И куда все друзья его подевались? Большинство, пользуясь благоприятным случаем, сбросило личину и перешло открыто на сторону его врагов, другие малодушно попрятались, и Ефим Иванович остался одиноким. Казалось, песенка его была спета, но властное слово Царицы, вспомнившей о своём старом слуге, разом избавило его от преследования врагов, а от друзей он сам сумел избавиться. Не желая видеть изменившегося к нему отношения московского общества, где все чурались его теперь, как зачумлённого, Ефим Иванович решил порвать со всем миром...

«Осталась одна мразь на свете! — говорил он. — Был один человек порядочный, покойный Григорий Александрович, да съели его людишки, и не хочу я с ними дела иметь!»

Он затворился в своём кабинете и спальне и в течение 12 лет, до самой смерти своей, ни разу не

переступал порога «своего царства», как назвал он эти две комнаты, и не видел уже до самой смерти лица человеческого, кроме старого камердинера своего, Прошки, бывшего когда-то ещё денщиком у него.

Когда Государыне Екатерине донесли о новом чудачестве Ефима Ивановича и о его речах по поводу смерти Потёмкина, она задумалась и после долгого раздумья тихо вымолвила:

«Что ж? Он прав…»

Никто, конечно, после этого не должен тревожить добровольного узника, и, хотя все были уверены, что старик повредился в уме, оставили его доживать жизнь по-своему.

И странный завёлся с той поры порядок в доме у него. Он, как был, так и остался хозяином и владыкой, и о всяком малейшем происшествии по дому ему немедленно докладывалось через Прошку. Распоряжения же всякие исходили от жены его, и вообще всё управление делами сосредоточилось в её руках. Хозяин же и владыка лишь изредка, опять-таки через неизменного Прошку, давал знать о себе, присылая лаконичные записки: «прислать 1000 или 2000!», что значило —, пришлите денег для раздачи бедным, которыми заведовал теперь всё тот же Прошка.

Но ни жене, ни почти уже взрослым детям ни под каким предлогом не разрешалось, раз и навсегда, заходить в «его царство».

Они были «там», принадлежали к «тем», как окрестил Ефим Иванович весь мир в отличие от «своего царства» и «наших», т. е. старика Прошки да старой собаки громадного роста и необычайной силы и свирепости, носившей почему-то совершенно не подходящее ей имя — «Малютки». В былые времена эта Малютка одной хваткой подминала под себя матерого волка и смело бросалась одна на медведя, не глядя — есть ли за ней подмога или нет.

Никто из «тех», «оттуда» не смел и носу показать на половину Ефима Ивановича, и доживал он дни свои в угрюмом одиночестве, не видя лица человеческого...

А жизнь шла своим чередом — сыновья повыросли, поженились, и у них, на их половине, раздавался и детский смех, и визг, и топот расшалившихся детишек, которые никогда, впрочем, и близко-то не подходили к страшным для них комнатам невидимого, никогда ими невиданного старика — деда.

На жилой половине собирались гости, раздавались шумные голоса, смех, звуки музыки, но всё это оживление только издали доходило до заветных дверей, всегда плотно притворенных, на половину Ефима Ивановича, за которыми вечно царила мёртвая тишина, изредка нарушаемая лишь стуком деревяшки самого хозяина, шагами Малютки да тихим голосом Прошки...

В последний раз напоминал о себе былой «Петербургский чудотворец» в день своих похорон.

Собравшись умирать, он оставил на имя старшего сына и наследника, Василия Ефимовича, подробное распоряжение — где и как похоронить его тело.

Похороны должны были быть без всякой пышности. Гроб простой, сосновый, некрашеный. Но, сколько ни есть в Москве нищих, калек и убогих (хоть несколько тысяч), всех звать на похороны с

тем, чтобы шли провожать гроб до могилы в Новодевичьем монастыре, т. е. через всю Москву. После же погребения наследник должен лично просить всех, провожавших тело, на поминки, по окончании которых выдать каждому, без различия — будь то нищий или убогий, или знатный и богатый — по пяти серебряных рублёвиков — «на память».

Буде же кто откажется — отослать ему их на дом и бросить у дверей. Только покрутили головами да развели руками москвичи, узнав о таком распоряжении покойного, и несметная толпа глядела на торжественное погребальное шествие, когда за простым некрашеным сосновым гробом, несомым на руках родными и близкими, потянулись тысячи и тысячи всяких калек — безруких, безногих, слепых, старых и малых, рваных, грязных, оборванных... А над этой необычайной толпой провожатых медленно плыл, блестя, как золотом, свежевыстроганными боками, гроб с останками Ефима Ивановича.

Если была у покойного мысль показать москвичам, как много живёт бок о бок с ними бедноты и нищеты, о которой они и понятия не имеют, то он достиг своей цели — никто не мог и подозревать, что в Москве такая масса нищих и убогих. Когда же голодная армия, неизвестно из каких щелей и углов сползшаяся в этот солнечный ясный день, ещё ярче выставлявшая на вид все её уродства, язвы, грязь и бедность, вдруг появилась на улицах столицы — впечатление получилось довольно сильное.

Так, провожаемый голодной нищей братией, искренне оплакивающей своего заступника, проследовал Ефим Иванович к месту последнего успокоения, где и было погребено смертное тело его, душа же ещё раньше предстала пред Всевышним Судией, чтобы дать отчёт во всех своих делах и помышлениях...

Долго вспоминали москвичи необыкновенные похороны — ну, а потом, конечно, забыли, как забыли с течением времени и самого Ефима Ивановича. Вдова его и дети почти тотчас же после похорон поспешили уехать из надоевшей им до смерти Москвы и уехали, конечно, за границу проживать огромные богатства, оставшиеся после Ефима Ивановича, в чём и успели в весьма непродолжительное время.

А старый дом остался одиноким...

Липы, разрастаясь все более и более, совсем закрыли его, как бы стараясь укрыть его от надвигавшейся со всех сторон новой жизни. Да и сам он, заброшенный владельцами, постепенно приходил все больше и больше в упадок: штукатурка обвалилась, стёкла повыпадали, крыша проржавела, полы покосились, потолки провисли, и стоял он, мрачный и пустой, пугая прохожих и дожидаясь окончательного разрушения. Пожар 1812 года пощадил старика, и продолжал он стоять и разрушаться от времени и, пожалуй, совсем бы разрушился, если бы какой-то из праправнуков Ефима Ивановича, нуждаясь в деньгах, не продал своё родовое гнездо разбогатевшему московскому купцу.

Новый владелец привёл весь дом в порядок, и зажили было в нём, но в скором времени принуждён был перепродать его другим, так как дела его пошатнулись. И шёл старый дом по рукам, причём каждый из владельцев перестраивал его по своему вкусу. И так изменился он с течением времени, что встань теперь из могилы покойный Ефим Иванович — и тот не узнал бы его. Вся громада его была разбита на небольшие квартиры, и лишь большая зала, бывший театр

Ефима Ивановича, осталась без перемен. Её отдавали обыкновенно под балы и свадьбы. И лишь теперь, в наше время, старый дом зажил новой жизнью и получил особое назначение.

* * *

После многих долгих лет преследований за веру и ожесточённых гонений малое стадо Христово, христианская церковь евангелистов-баптистов получила, наконец, возможность публично, не опасаясь преследований, отправлять своё богослужение.

Но не даром досталось ей это сравнительное спокойствие. Много было пролито слёз и кровавого пота в те, ещё сравнительно недавние времена, когда последователи Христа, желавшие поклоняться своему Богу и Спасителю в духе и истине, а не по обрядам господствующей церкви, были преследуемы наравне с ворами и убийцами. Братьям, желавшим собраться для молитвы, нужно было таиться от людей и, как ворам и разбойникам, ютиться в оврагах и развалинах, вдали от взоров людских. В противном случае, застигнутые на месте ужасного «преступления» — на общей молитве своему Искупителю, они подвергались обыску, аресту и, при обнаружении у них «вещественных доказательств» — Евангелия и книжек с гимнами, отправлялись в тюрьмы за железные замки и решётки, а оттуда рассылались по разным глухим уголкам нашей необъятной родины, затем, вероятно, чтобы и там мог раздаться призыв ко Иисусу и возрождению в новой жизни, чтобы и там Благая Весть могла быть проповедана народу на языке ему понятном и близком.

Не предвиделось конца мрачной эпохе гонений и преследований за убеждения. Казалось, вновь вернулись времена жестоких римских цезарей — гонителей христианства, но сжалился Господь над верными Ему.

Высочайшим указом 17 апреля 1905 года была, наконец, дарована в России свобода вероисповеданий. И с этого дня всякий и каждый, не опасаясь уже доносов и преследований, мог открыто исповедовать веру свою и молиться Господу Богу по своему разумению. Конечно, Господь Всеблагой знает, когда необходимы для человечества гонения и преследования, а когда — тихая спокойная жизнь. Не нашим несовершенным земным разумом объять и объяснить Его Святую Волю, и мы, склоняясь перед Ним, лишь можем со слезами молить: «да минует нас чаша сия, но пусть будет не так, как мы хотим, а все сбудется по Воле Твоей!»

Пользуясь вновь дарованным правом — свободно и публично отправлять богослужение, община тотчас же занялась поисками подходящего помещения для молитвенных собраний. Выбор её остановился на бывшем доме Ефима Ивановича, так как зала, бывший театр, сохранившаяся от прежних времён, как нельзя более подходила для их цели по своей величине и расположению.

Думал ли когда-нибудь Ефим Иванович, атеист и вольнодумец, что в выстроенной им театральной зале, где его крепостные Дуньки и Матрёнки ласкали взоры его и восхищённых гостей грациозностью и пластичностью своих телодвижений, когда в образе паяцев и русалок они сплетались в красивые хороводы и гирлянды и услаждали слух восхищённых зрителей мелодичностью напеваемых ими легкомысленных куплетов, думал ли он, что настанет время, когда в этой самой зале мощно зазвучит гимн Христу Победителю, раздадутся вдохновенные речи проповедников Слова Божьего и польются слезы сокрушения и раскаяния...

И старые стены, видевшие на веку своём так много грязи и жестокостей, так много мишурного блеска, вновь увидят толпы собравшегося народа, но не разукрашенных и раззолоченных былых гостей Ефима Ивановича, оглашавших когда-то их своими криками и смехом, а простых бедняков и крестьян, пришедших сюда услышать Слово Божие, найти путь к избавлению от грехов и смерти и возрождению в единении со Христом. Неисповедимы, поистине, судьбы Господни, и не дано нам нашим земным разумом постигнуть всю тайну и глубину намерений и дел Божьих.

Нам, близоруким, никогда не объять всей силы и всего могущества Господа нашего, самого дела грешников обращающего в средства возвеличения славы Своей...

***

Друг-читатель!

Старый дом обрёл, наконец, своё истинное назначение, и после долгих лет пребывания в мерзости запустения и служения Маммоне, стал местом собрания верующих, и в нём громко раздаются теперь гимны Спасителю и возносятся тёплые молитвы верных.

Ну, а твой дом, твоё смертное тело — земное жилище души твоей, для чего ещё служит? Кто в нём господствует — дьявол ли, в образе страстей и похотей мирских, управляющий тобой, или благодать Божия, Дух Господень, подвизающий тебя к новому совершенствованию на путях Его?

Заглянем же, брат мой, поглубже в душу нашу, и, если темно в ней и непонятно, и не сможем мы собственными силами разобраться в ней — вот стоит Помощник Сильный и ждёт, чтобы обратились мы к Нему за помощью, которую Он уже давно предлагает нам!

Благодатная кровь, около 2000 лет тому назад пролитая на Голгофском кресте Богом и Искупителем нашим, принёсшим Себя в жертву за преступления и грехи людские, омыла весь мир и избавила всех людей от смерти и наказания за грехи их.

Коснулась ли спасительная волна Её и нас с тобой, дорогой читатель, мы-то спасены ли беспримерным великодушием Искупителя, жизнь Свою за людей положившего? Или же, холодные и равнодушные, мы стоим в стороне и не замечаем, что давно уже служим игрушкой в руках дьявола, поработившего нас страстям нашим?

При свете Божественного Слова мы ясно увидим всю грязь и нечистоту душ наших, увидим также и путь спасения, на котором стоит Господь и зовёт нас за Собой в царство света и вечной радости.

И может быть, мы слишком бедны и грязны, чтобы идти за Ним, может быть, грехи наши так велики и преступления так безмерны, что никакого милосердия не хватит для искупления их?

Нет и нет! Поверь, брат мой, что они уже давно искуплены, и стоит нам лишь руку протянуть к Спасителю с верой в искупление Его Божественною жертвой, и Господь, который давно уже предлагает нам всем спасение, тотчас же исцелит нас и даст жизнь вечную — падём лишь к ногам Его и со слезами раскаяния и душевного сокрушения воскликнем:

«Верую, Господи, помоги моему неверию»

Комментарии